

Александр Андрюхин

ВЕТРЕНАЯ ГОСТЬЯ

девятая книга стихов

1991

ПЕРИСТЫЕ ОБЛАКА

Я сегодня проснулся и понял — рассудок в бегах —
тротуары в ракушках и в перистых высь облаках.

Словно гусь исполинский транзитом наш мир посетил,
но радар запищал, и ракетчик ракету пустил.

В пух и прах разметались по небу его потроха.
Сопривет, иноземец! Ни пуха тебе, ни пера...

Эх, ракетчик, ракетчик, чего теперь пялить глаза?
Видно, нынче не только в мозгах у поэта шиза.

Я сегодня проснулся и понял, стряхнув с себя плед,
что знаком с этим небом миллионы неистовых лет,

что разрушится мир, если смысл озарит, а его
ни умом не понять, не испить до конца, как вино.

БЕЗ КЕПКИ

Сегодня слезный и интимный,
должно быть, радиоактивный,
такой лоснящийся, истомный
и забубенный летний дождь.
А я не радиоловитель,
и не настолько праздный зритель,
чтоб замереть ошеломленный
под ним, как некий медный вождь.

Я буду мокнуть, как ворона,
и вспоминать буфет перрона,
где двое за паршивом кофе
никак расстаться не могли.
Она ушла с продрогшей розой,
а он, летя в ночи нервной,
молил судьбу о катастрофе,
но охраняли путь огни.

Итак, той ночью поезд мчался
дождем исхлестанный. Качался
вагон его. Но, как Спиноза,
был щепетилен машинист.
Она, обруганная мамой,
впервые спать ложилась дамой,
и осыпалась тихо роза,
и прилипал к окошку лист.

Я выйду в ночь без головного
убора и припомню снова
перрон, и вновь начну кусками
пытать судьбу, как Ксенофонт,
плутая где-то и окольно
и чувствуя, как лупит больно
он по мозгам. Но с лепестками
тремя в кружке мой сгинул зонт.

Но ложь! Я не имел от роду
зонта с плащом. Судьбе в угоду
свой путь земной до середины
прошел безшляпочным груздем.
Есть путь под солнцем, над Олирной,
есть Млечный путь, и есть эфирный,
а им всю жизнь бродить с повинной
поодиночке под дождем.

ГАДАНИЕ ПО КАРТАМ

Дама пик, две семерки, король,
дом казенный, ночное свиданье.
Вы пиковая вечная боль
и пикантное в общем созданье.

Три семерки, подъезд, гастроном,
скользкий путь мимо женщин Монмартра,
и бубновая грусть за окном,
и такая тоска — ваша карта.

Вами болен я тысячу лет,
вас встречал я улыбкой наивной.
Снова дама, червонный валет,
слякоть, сырость, обшарпанный винный.

Буби, пики, крестовый бедлам
и червонные марши по лужам.
Снова путь, но опять же не к вам —
по казенным все более нуждам.

Словом, плохо. Все знать наизусть
просто скучно средь вечного гама.
В сердце та же крестовая грусть,
и под сердцем лукавая дама.

ЧТО КАСАЕТСЯ СЧАСТЬЯ

Что касается счастья,
его не измерить разбитыми чашками,
как любовь не измерить сердцами разбитыми, так
что взглядом не мерь,
не трясси сумасшедше кудряшками,
встань под душ, освежись,
соскобли с коготков своих лак.

Что касается света,
его не измерить мозгами разбитыми,
фонарями в ночи и глазами полуночных сов.
Слов не нужно, родная!
Слова были в самом начале с семитами,
а в конце только Бог, но без них...
что касается слов.

Что касается жизни,
ее не измерить ни бытом, ни фёклами.
Стань Богиней, родная, когда нас во тьму понесет!
Человечество мерит спасенье разбитыми стеклами.
Только что здесь спасать? Дай надежду!
Надежда спасет.

Что касается душ,
им по-прежнему горько и тягостно
среди отпущенных свыше потёмков,
сомнений и бед.

Но сомненья Всевышний в червей превращает,
чтоб радостно
рыбаки, на крючки насадив их, вживались в рассвет.

Что касается мыслей о вратах,
спасеньи и вечности,
их лелеять в себе,
все равно, что пространство толочь.
Мы рассветами мерим наличие в нас человечности.
Встань под душ, дорогая,
нас ждет сумасшедшая ночь!

РАЗГРЕБАЯ СНЕГ

Ничто, друзья, не вострепещет
во глубине снегов Симбирских.
Витают сны и солнце блещет
среди сугробов исполинских.

Законсервирован, как в банке,
мой дух отчаянно бедовый.
Не помышляя о загранке,
он рыщет по Руси кондовой,

по берегам Отчизны дальней,
от волн Балтийских до Китая.
И светится мой дух ментальный,
как будто от икры минтая.

Вот пролетает над Москвою,
где холод, голод, снег и биржи,
где в трех издательствах с тоскою
мои почили с миром вирши.

И дальше он летит поспешный
то по Тверской, то по Ферганской,
где я плутал хмельной и грешный
с ухмылкой крайне дилетантской.

А там живет такой смешною
и странной жизнью, словно Авель,

Татьяна с русской душою,
мечтавшая удрать в Израиль.

И по Нью-Йорку Анжелика
скучает, как по морю баржа,
и Новоскольцев, брея лико,
мечтает драпануть подальше.

И тут лишь зубы от лезгинки
крошатся... Черт! Мороз и солнце!
Друзья, я тут, в своей глубинке
один, как перст, на самом донце.

А там, на закордонном пляже,
что весь в ньютонах и платонах,
красотки сладкие (как в драже) —
в духах, гипюре и пардонах.

Ах, от любви до озлоблений,
как от стихов до эпитафий.
Русь в ожидании знамений
и иноземных порнографий.

Ах, от достоинства до блуда —
как перепившему до лужи.
Не знают дамочки оттуда
всей глубины Симбирской стужи.

РОЖДЕНИЕ ЛОМОНОСОВА

Звезда российская в бегах,
луна помпезна.
Россия в дырах и звездах —
такая бездна.

Зачем, Господь, в великий пост
созвездья застишь?
Ведь в каждой бездне столько звезд —
открыть бы настезь!

Земля — Господняя тюрьма,
но свет нисходит.
Из бездны, стужи и дерьма
звезда восходит.

Спят звезды, Холмогоры спят,
снега и ночи.
Звезда Михайло, не горят
Господни очи.

От снов с ума бы не сойти,
где луч мессии?
Звезда Михайло, освети
снега России!

НА СНЕГУ

Снег. Под снегом озябшие тролли,
и вороны замерзли в дугу.
Две кудрявые рыжие колли
кувыркаются в свежем снегу.
Небо давит фаянсовым блюдцем
на мозги с иждивеньем немым.
Я сегодня намерен проснуться
и рвануть по сугробам босым.
Я сегодня намерен остаться
сам собой, как в ночи зодиак.
Только вот не могу оторваться
от роскошных кудрявых собак.
Сколько жизни в них, радости, страсти,
сколько смысла у них на роду.
За окном белоснежное счастье
и хоккейные крики на льду.
Как их рыжие шкуры лоснятся,
как срываются души в галоп.
Нет, ей Богу, пора просыпаться
и нырять головою в сугроб.
Снег. Площадка немая от голи.
Перемолоты чувства в муку.
На снегу кувыркаются колли.
Божье чудо на белом снегу.

ОРГАНИСТКА

Под рождество в святую среду
она играла на органе.
Как будто с Господом беседу
вела, как жрица в Карфагене.

И растворялся зал концертный
в ее божественной сонате,
и чувствовал бессмертье смертный,
как пролетарий на плакате.

Все от велика и до мала
боготворили королеву.
И растекалась высь по залу,
как слизь весенняя по дереву.

А он сидел на пятом слева,
угрюмый, ветреный и алый.
«Она и вправду королева,
тогда и я король, пожалуй».

А он не мыслящий в клавирах,
но знавший толк в чужих подушках,
скучал, как хлюст на дрогах сырых,
косясь на джинсовую клушку.

И не пытаюсь в тайны вникнуть,
что залом замершим владели,

готов он бы вскочить и крикнуть:
«Все ложь! Я был в ее постели!»

О Боже, как она играла
под рождество в морозный вечер,
как будто врата отворяла
в чертог, который так далече.

В субботу кто-то за беседой
припомнит, выпив муть бокала:
«Да! Органистка в эту среду
невероятно как играла!»

МОЦАРТ

В тот день, когда парик к клавирам гнуло
и пальцы погружались в мадригал,
в глазах печаль у Моцарта мелькнула,
из рук Сальери взявшего бокал.
Мажорно дождь отстукивал по крыше,
и думал Амадеус: «Не сыграть.
Ты говорил, что правды нет и выше?
Бог Землю создал, чтобы правду знать».
А ветер тьму в звездах надумал вздыбить,
и думал Моцарт, вслушавшись в себя:
«Как ни прекрасна жизнь, но нужно выпить.
Не мне судить, Господь им всем судья...»
Сальери, брат, бедняга, славный парень,
смотри, он пьет, смеясь, наивный мот!
Ты доказать хотел, что не бездарен,
но доказал совсем наоборот.
Ликуй, Сальери, в королевской свите!
Ликуйте все! Исторг любимец стон.
Не дорожит как жизнью он, смотрите!
Дороже жизни знает что-то он.
В минорный час под дождь, когда насытить
был гения не в силах мадригал,
подумал Амадеус: «Нужно выпить!».
Захлопнул ноты и поднял бокал.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Луна зависла неуклюже
над Малой Бронной и Тверской.
Гляжу то в небо, то на лужи,
то в прошлое свое с тоской.
Гляжу в грядущее и вижу
сквозь каменный московский плес
процесс перерастанья в грыжу
любви, поэзии и грез.
Гляжу в грядущее и с ужа-
сом чувствую сгоревший мост.
А жизнь разлита, словно лужа,
в которой отраженье звезд.
Их видит под ногами праздный,
живущий истиной одной,
что в луже, даже самой грязной,
звезда останется звездой.
Но тупо вязнут князи в грязи,
порывы тонут в море бед,
и дух мятежный, словно Разин,
хватает звезды, а их нет.
И в лед вмерзает, словно «Красин»,
рассудок, глядя на луну.
Но свод безмолвен, как Герасим,
а жизнь покорна, как Муму.

ДРУЗЬЯМ

А до шестнадцати и старше
мы обожали быть в шутах.
Как вам теперь при секретаршах,
при кабачках на Патриарших,
при миллионах на счетах?

Владельцы банков и банкнотов,
витрин блестящих, как капель,
домов, салонов и КООПов,
как вам, друзья мои, теперь?

А я ломаю те же копы,
на все по-прежнему плюя.
Ах если б не писал стихов я,
то, безусловно, мог и я

и уксус пить, и крокодилов
зубами рьяно осенять
и исполнительных дебилов
под дым сигарный наставлять.

Могу и я в тоске бумажной
зависнуть радугой-дугой.
Товарищ, верь, взойдет другой!
Ах, до чего вы стали важны,
высокомерны и вальяжны,
а я — такой и рассякой.

Когда-то вместе под гитару
мы пели, пили из горла
в сырых подвалах, а не в барах,
и были мы не при долларах.
Теперь — такая мишура.

Но верю, что предскажут Глобы
хоть свет какой-нибудь вдали.
Мы вышли из одной утробы,
стезями ж разными пошли.

И разную дымим мы «Приму»,
и разную растим беду.
Но все дороги, будто к Риму,
приводят к Божьему суду.

ИГРА В СУДЬБЫ

Чего хотите вы от нас?

Нас судьбы сами выбирают
и нами же, как в преферанс,
за кофе утренним играют.

Кто есть мы? — Мелочь, голытьба,
будь брокер ты, или уокер.

Ты рвешь и мечешь, а судьба
твоя давно продулась в покер.

В очко продулась и еще
в бузу, спросонья без азарта,
зевая, глядя лоб лоще-
ный:

— Сударь, право, ваша карта.

— Мечите, будьте так добры!

— Извольте: русским — снова муки,
французам — сытость до поры,
китайцам — ой, умру от скуки...

— Тоска... Наслать на них вертеп?

Войну? Холеру? Надоело,
служители кривых судеб!

— Банкуйте дальше, сер! В чем дело?

...Чего хотите вы от нас?

Ни зрелыми, ни пацанами
нам не свести концы с концами.
Конец очертит преферанс.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

Прощай! Пойду по городу бродить.
Хоть город глух и нем, как Колизей.
Я им забыт давно. И породить
в нем новых виршей не смогу. Скорей,
вольготней им при запертых дверях,
как при ветрах волнениям в морях.

На улице весна. Еще весьма
не поздно прыгнуть в лифт или такси.
Еще мне рады беллетрист Кузьма
и критик Саша с вежливым «мерси».
Полжизни нет уж, милая, проснись!
На стеклах пыль и мартовская слизь.

Часы пробили. Время пить вино,
менять остатки жизни на коня.
Я счастлив был с тобою, может, но
прошло полжизни, милая, в полдня.
На расстоянии живет любовь,
а счастье — там, в грядущем, где все вновь.

— Проснись! — я повторяю на бегу.
Мы в затхлости сгноили счастья нить.
Я уйду. Я больше не могу.
Часы пробили. Время уходить.
Вернусь во время страшного труда,
а повезет — так вовсе никогда.

КАПЕЛЬ

Сверкает город лужами,
как маленький Париж.
И капельки жемчужные
летят с дремучих крыш.

Раскрыв ладони дружные
мальчишки и мужи
избрали по жемчужине —
попробуй, удержи!

Не жди, родная, к ужину!
В крови кипит вино.
Держал я ту жемчужину,
но это так давно.

О как в ночи простуженной,
закинув в плед кольцо,
все зубками жемчужными
сверкала мне в лицо.

Все вздор! С тех пор остуженный
не верю в лживый блеск.
Пока летит — жемчужина,
поймаешь — только всплеск.

ЖЕНЩИНА

Я знаю, эта женщина сожжет,
ее уста — что печи крематория.
Она сошла на Землю, как виктория
бесовской плоти, метящей в живот.

Сожжет, обуглит, молнии подстать,
испепелит, как твердь всевышним телексом.
Когда бы возродиться после фениксом,
иль Феликсом над площадью восстать.

О как мой космос превратится в тлен
по воле рока, звезд, луны и случая.
Я для нее обычное горючее,
а у нее запал, как у Кармен.

Я знаю, эта женщина не клад —
во лбу шары шуршат, почти что гольфные.
Ее персты — концы высоковольтные,
и как они, тряхнув, потащат в ад!

И с глупой миной, как пустая шваль,
порхать над жизнью стану обескровленной.
И будет мне не жаль судьбы надломленной,
и в бездну падать будет мне не жаль.

В ДОЖДЬ

Звенят горошины, как рупи,
гуляет дождь косыми тропами.
Мы целый день друг друга любим,
сверкая розовыми попами.

Я не мечтал о большем чуде:
твой томный взгляд блуждает жалостно.
Мы завтра снова в ссоре будем,
Не прекращайся, дождь, пожалуйста!

Постель — души исповедальня.
Пусть непогода не кончается,
пусть наша тонущая спальня
фрегатом стонущим качается.

НА СТУПЕНЯХ

Когда на даче с пьяной злостью
приятель стих лепил к ушам,
увел я ветреную гостью
бродить по сонным этажам.
Поскольку сторож запер двери
и черный ход не выдал «плис»,
я до рассвета, как Тиберий,
ходил за нею вверх и вниз.
И ночь насчитывала пени
друзьям, что спохватились нас.
Ступени вверх и вниз ступени,
как будто с нимфой на Парнас.
Не оступиться б, как разиня,
не полететь бы вниз, звеня.
О Боже, как она дразнила
фигуркой тоненькой меня.
Читая в бурях ей и в нордах
стихи, я думал, как Тролье,
какие чары в этих бедрах,
какие тайны под колье.
С такою хоть в огонь, хоть в Лету,
хоть в пропасть в неродном краю.
Но чутко, будто сигарету,
она тушила страсть мою.
И звезды сыпались попарно,
и думал я с тоской, что вот
уходит ночь опять бездарно,
а следом жизнь за ней уйдет.

На это мысли, как незрячий,
рассвет разбрызгал бездну стрел.
И поцелуй, такой телячий,
разлуки миг запечатлел.
Да, так всегда — к едрени фени
мотать в деревню, в глушь... в Томис!
Вся жизнь — дурацкие ступени
то вверх за женщиной, то вниз.
И мчался поезд, и на темя
давила грусть, и в полусне
не ведал я, что в это время
она письмо строчила мне.
В вагоне скука, в небе тучи,
мир под Зевесовой пятой.
Она писала мне, что лучше
не знала в жизни ночи той.
Но я в зевоте, как издатель,
ночные страсти все топил.
Лишь через год меня приятель
ее письмом ошеломил.
Мы в покер резались беспечно
под майский уличный галдеж.
Так и живешь, не зная вечно,
где потеряешь, где найдешь.

БРАТВА

Пивная и амурная,
трескучая, как вздор,
братва литературная
качает коридор.

Из окон общежития
летят в астрал птенцы.
Уходят все в подпитие,
как в океан концы.

Литфонд закрыт. От коршунов
не выпавших — бедлам.

А что, дружище Дорошев,
не вздрогнуть ли и нам?

К вьетнамоматер резвая
протоптана стезя.

Глядеть глазами трезвыми
на эту жизнь нельзя.

Все вдупель. Сон космический
из шкаликов и звезд.

Лишь Обжелян типический
до коликов тревезв.

Литфонд закрыт. Все кореша
ушли в ядрену вошь.

Чего ты медлишь, Дорошев,
какую вшу ты ждешь?

Я СПРОСИЛ ВЧЕРА У ГУМАНОИДА

Я спросил вчера у гуманоида:

— Что такое «вектор эволюции»?

Он ответил:

— Это экзекуция

от самосознания к созданию
самого себя через познание
из простой песчинки астероида.

И еще спросил я у него же:

— Что такое «принцип трансформации»?

Он ответил:

— Это операция

между «я» и мыслящим эфиром
для признания истинным вас миром,
тем, который вы зовете «Боже!»

В третий раз спросил я, словно Павел:

— Что любовь людей для мироздания —
блажь, игра, спасенье или мания?

Долго думал гость ночной, бледнея,
наконец ответил:

— Вам виднее!

Тонко улыбнулся и растаял.

ИСПЫТАНИЕ КРАСОТОЙ

Она была прекрасна. Ну и что?
Теперь прекрасна менее. Досадно.
В глазах все так же тускло и прохладно,
и под глазами что-то все не то.

Понятно: возраст, дом, больной супруг
(спасавший красоту ее от мира),
посуда, мебель... в виде сувенира
скульптура нимфы с вывертами рук.

И я не лыком шитый к ней питал
те чувства, что отнюдь не из кристальных.
Тогда не знал я о телах астральных
и Кришнамурти с Муди не читал.

Она хотела осчастливить мир
собой одной. На темном небосводе
сверкать звездой. Но клерки были в моде,
и гадом оказался некий Кир.

Она хотела быть, как Улун Бек,
скакать за ветром и сажать на пику
поклонников. Пожалуй, с панталыку
сбивает красота, как дворник снег.

Она была прекрасна, но теперь,
выслушивая жалобы, зеваю,

сизу, киваю, сонных мух считаю,
глядя украдкой на входную дверь.

И образы отлиты (как в клише)
засохших роз с шипами из култышек.
Когда бы розы сплющились от книжек,
а то бездарно — от папье-маше.

И в сотый раз под обаяньем лжи
я признаю, пылинка мироздания,
что красота, пожалуй, испытанье
на вшивость и наличие души.

ВМЕСТО СЛОВА

Бессонница. Над фонарем
впотьмах созвездья угасают.
Листва шуршит календарем.
Сентябрь. Тоска. Собаки лают.
Сентябрь. Преддверье октября
из кумачей и транспарантов.
Мир полон тьмы и экскурсантов,
и экстрасенсов, тех, что бря-
кают ладонью по затылку,
чтоб сверхкосмический канал
нам открывался за бутылку,
чтоб нас потом он доконал.
Потьмы. Сопенье вместо слова.
Мертвеют тени, чакры... Но
ты спишь, свернувшись, как подкова
на счастье. Третье не дано.
Бессонница. Фонарь. Суббота.
Ничто не вечно, кроме тьмы.
Луна с глазами идиота
плетет нам судьбы из тесьмы.
Плывут, как тени, дней остатки
над потолком. На стенах спаль-
ни снов обрывки. Сын в кроватке
спит сладко, тихо, как мораль.

ПОПУТЧИЦА

Пронзая тьму, как воздух стриж,
летит ночной экспресс.
Сижу, не сплю. И ты не спишь
с тоской наперевес.

Купе трясет, как Навои,
и мысли, как цеце,
кусают. Гнутся шпалы. И
мелькают на лице

столбы, разъезды, вновь столбы,
перронов хохлома,
огни, дома, поля, клубы
снегов... И снова тьма.

И снова тьма. Вокруг ни зги.
В тумане Млечный плес.
Душа светла, пусты мозги
под дробный стук колес.

Вперед уносятся года,
а жизнь летит назад.
Стучат колеса. Иногда
твой быстрый вижу взгляд.

Он шоколадней эскимо
и мутный, как слеза.

И если тушь стереть, то можно разглядеть глаза.

А если платье расстегнуть у шейки, как вампир, то можно в душу заглянуть, как в Новый Божий мир.

Запрет висит, как сталактит, над теменем. Стрелой ночной экспресс во мглу летит, как в бездну шар земной.

Столбы, разъезды, тьмы, вокзал, полночное дуду.

Да, где же это я читал?
Ах, вспомнил! На роду.

Я пребывал в чужих томах тогда, а ты крала мои стихи на тех холмах, когда спускалась мгла.

Напой, красавица, напой о том нездешнем дне.
Мы где-то виделись с тобой — нет-нет, не на Земле!

Впотьмах блуждая, как слепой, я ждал твоих вестей.

Все было именно с тобой,
но без условностей.

Твой трогательно вьется локон,
будто Божий знак.
Путь к Господу, он одинок,
с попутчиком — во мрак.

Я здесь всю ту же чашу пью,
мне те же вина льют.
А если руку взять твою,
условности уйдут.

Но я не взял. И ты печально
отвернулась спать.
Не дай печаль твоих начал
нам, Господи, познать!

Под сердцем тихо. На нуле
мой пыл, толкавший в бой.
Господь сказал, что на Земле
не встречу я с тобой.

Но ты явилась. Я узнал
тебя, как по клейму.
Опять столбы, разъезд, вокзал,
огни... и вновь во тьму.

В ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ

В прошлой жизни, должно быть, я был моряком. И моря
семь столетий скрывают мою скандинавскую суть.
Где-то рядом гноили творца «Старшой Эдды», но я
не столкнулся с творцом, и не плачу по «старшей» ни чуть.

Столкновение же с младшей сестрицей кабатчика эР,
угрожало округе спалить все стога на полях.
Как душила в объятьях она на голштинский манер,
как я в той же манере свой вольный предчувствовал крах.

Ради губ ее огненных небом храним был и для
чудных глаз голубых, и божественно солнечных плеч.
А кабатчик (соседействовал с ним я, как с горлом петля)
все точил и точил свой угрюмый разбойничий меч.

А на утро корабль уносил в мой родной непокой,
что извечную нить горизонта в судьбу мою вшил.
И стояла она на скале, и махала рукой,
и трепал ее волосы ветер, и слезы сушил.

Где б я ни был потом, и куда б ни тащила волна,
все пути, словно к Риму, вели к той скале насовсем.
А сегодня в трамвае мы встретились вновь, но она,
не узнав, отвернулась и вышла на площади эМ.

ТЫ РАНО ВСТАВАЛА

Ты рана вставала, плескалась, как нимфа в некафельной ванной,
и запах нагой по квартире носился изящный и странный.

Сороки галдели, рябины горели и тюль раздувался.

Ты снова спешила, кудряшки сушила. Рассвет занимался.

Куда ты, зачем в сотый раз с головой в гераклитову реку?

А хочешь, босыми, нагими сейчас же отправимся в Мекку?

Не нужно себя словно ленту стирать в магнитоле клубничной.

Я знаю, из бешено славных плутовок ты всех платоничней.

Рябина, калина, малина... вьюна голубого косичка.

Рассыпаны мысли, заколки, одежда, твоя косметичка.

И скучно и грустно, и сладко и гадко, и в стельку запретно.

Распахнута штора интимной тетрадкой; за ней — беспросветно.

Ты наскоро тени и пудру клала, как богиня Паллада.

Моя дорогая, а хочешь, сорвемся с тобой до Багдада?

Что было — уплыло. Как чудно и мило — любовь за проклятье!

Ты бешено ищешь прозрачный бюстгальтер и мятое платье.

И маятся маятник, кается Каин, постель остывает,

и время не ждет, и будильник спешит, и автобус хилеет.

Нас жизнь приучила, в телегу впрягла, как стамбульского мулла.
А хочешь, на лодке сию же минуту рванем до Стамбула?

На остров, на полюс, в тайгу, где медведи, метели и вьюга!
Куда ты опять? Не спеши, мы уже отыскали друг друга!

Мотаем вдвоем! Убежим! Только все уж избегано в доску.
Ресницы в слезах, коготки в перламутре, и щеки в известке.

Последнее чмоканье, цоканье туфель, печали оттенки;
искание смысла, слепые надежды, немые застенки.

ПОСЛЕ ССОРЫ

По ночным переулкам, ледышки дробя,
я шатаюсь с больной головой.
Ненавижу тебя, презираю тебя —
я не твой, я не твой, я не твой!
Я не пес на цепи, не домашний Пегас,
не пижама, не плед, не пиджак.
И со штампом у нас, и без штампа у нас
все не так, все не так, все не так.
Убегу насовсем ту, иную, искать,
босоногий, в потертом пальто.
Буду женщин встречать, будет сердце стучать:
все не то, все не то, все не то.
А потом повторится и май, и гроза,
и другая расплещет края —
станет жечь и дразнить, и смеяться в глаза:
не твоя, не твоя, не твоя.
Да, ведь должен же кто-то простить и понять,
и принять бескорыстной душой.
Но все женщины утром мне будут ронять:
ты чужой, ты чужой, ты чужой.
И в краю престарелых, в печальном доме,
среди самых казенных вещей,
одиноко вздохну и пойму, и приму:
я ничей, я ничей, я ничей.
А на смертном одре удивлюсь: «Это все?»
И ответит мое божество:
— Все еще обойдется, уляжется все,
ничего, ничего, ничего...

МНЕ ОСТАЛОСЬ

Разуверившись в счастье, как нимфа Пиаф,
все надежды земные отшив и прокляв,
лишь к тебе я остался нейтральным.
Я пустоты, как шпроты, вокруг открывал,
и чем праведней ближнего я познавал,
тем верней становился он дальним.

От земли отрываясь, от чувств и людей,
из миров выбирая планету идей,
я вытаптывал все, что горело.
Покидали подруги, терялись друзья,
кто на дно уходил, кто из грязи в князья,
но в затылок лишь ты мне смотрела.

И вставала с утра, ненавидя меня, —
я взаимно и, свыше кого-то виня,
проклинал эту жизнь, как холера.
И дурачила ночь, и пьянило вино,
но тебя, как Россию, понять не дано,
и осталась в тебя только вера.

Если б сытым я был и богатым, как Фет,
как бы верил в сонет и в Верховный Совет,
как бы музам и нимфам я верил.
В этот мир мы пришли, чтоб терять и терпеть.
Верить в высь — все равно, что над жизнью лететь
бестолково, как с крыльями мерин.

Только ты оказалась нужнее, чем мир,
что по-прежнему сер и по-прежнему сир,
над которым бесславно хлопчешь.
Так полжизни, как Дантэ, свои отрубя,
мне осталась последняя вера в тебя,
да и ту, вероятно, затопчешь.

РАССУДКУ ВНЕМЛЯ

Мы все пытались понемногу
преобразать крещеный мир,
рассудку внемля, будто Богу,
и внемля Богу, как сатир.

Мы кучковались, почковались,
клялись, давились, как клопы,
вживаясь в небо, в твердь вжимались,
меняя догмы на гробы.

Мы в сектах с сумасшедшим звоном
висками чокались взшиб.
О Александр, ты был масоном,
как я сегодня кришнаит!

Мы что-то пели, что-то пили,
то в женщин веря, то в свиней,
и чем сильнее жизнь любили,
тем меньше нравились мы ей.

И научившись уши драить
друг другу новостной лапшой,
мы Божий мир пытались править,
своей небожеской душой.

ЗАЧЕМ ТОРОПИШЬСЯ

Зачем торопишься, ей Богу,
в такую рань бежать домой?
Еще не вышел на дорогу
пугать прохожих домовой.

Еще не полночь. Затрапезно
едва наметилась луна.
Еще над головою бездна
не открывалась звезд полна.

Еще вбивают где-то сваи
и разбирают дом на слом.
Еще аукают трамваи,
устроив гонки перед сном.

Еще менты не потеряли
в ночной росе собачий след,
и нас еще не осыпали
желаньями хвосты комет.

Еще витрины (точно дули)
не блещут звездами Кремля.
Еще с ружьем на карауле
никто не дремлет до утра.

Еще товарищ в тюбетейке
хрустит хурмой, как саранча,

и не в росе еще скамейки,
и кисть твоя не горяча.

Неужто, высвободив руку,
так и ускачешь, молча, прочь,
оставив мне печаль и муку
на всю оставшуюся ночь?

Зачем торопишься так рано?
Еще ведь даже не темно,
еще не бродит, как сопрано,
в крови полночное вино.

ДЕКАБРЬ

Едва берет нас на испуг
декабрь, дурача белизною,
уж пацанье идет войною
на брата брат, на друга друг.
И юный Железняк-матрос
вступает в бой, не зная страха,
чтоб с пылу-жару и с размаху
смахнуть всю изморозь с берез.
И в этот миг, когда вино
бурлит в крови, как дрожжи в пиве,
нельзя не залепить в порыве
снежком в соседское окно.
И как восторгам тут не внять
и ржаньям, распутившим гривы.
Души декабрьские порывы
умом июньским не понять.
Но слава Богу, что в башке
соображенье есть: в перчатках
лепил снежок и отпечатков
я не оставил на снежке.
Однако, что хочу сказать:
что снежную мою Россию,
давно не ждущую Мессию,
не так-то просто запугать.

ИЗ ОКНА

Сыплет снег на сонный город,
в небе воздух — чистый мед.
Сонный дворник поднял ворот
и бульвар пустой скребет,
курит, кольца Альманзора
расползаются, плывут.
От оконного узора
в чистой кухоньке уют.
Слесарь бродит в ржавой робе,
грустный пес за ним бежит.
Ребятня сидит в сугробе,
лепит что-то и визжит.
Снеговик, как неваляшка,
круглый выпятил живот.
И плывет очаровашка,
и печаль за ней плывет.
И горят вокруг рябины,
словно лампы Ильича,
и столбы как коломбины
в шубах с барского плеча.
Грач разгуливает гордо,
провода в резных чехлах.
Мгла таинственна, как бедра
королевы. На холмах
лес задумчивый в истоме —
мгла вселенной, бездны дно.
Черный кот на белом фоне
как родимое пятно.

НЕЗНАКОМКА

Твой взгляд так бешено хорош,
когда сидим мы визави.
Но будет вечер — ты придешь.
Я научу тебя любви.
Ах милая, я твой шаман!
Ты ровня нимфам и богам.
Твой рот вишневы, и хрупок стан,
и томны косы по бокам.
Но вечер шепчет. Тело дрожь
охватит в миг, как не криви!
Ты все, любовь моя, поймешь —
язык не сложный у любви.
Луна гламур наворожит,
из шторы луч скользнет под стол,
тихонько юбка зашуршит
и скомкано уткнется в пол.
И станут волосы твои
в подушках мяться и скулить.
О как способна ты в любви!
Мой Бог, я только начал жить.
Но стихнут страстные тела
под фиолетовую муть,
и лунный свет из-под стола
перебежит к тебе на грудь.
И в соловьином «се ля ви»
хмельной почувствую рассвет.
Я научу тебя любви.
Ты научи увидеть свет.

ПРЕЛЕСТНИЦА

Проснись, прелестница моя,
поедем в Петергоф!
Вокруг останки бытия,
как пепел от костров.
Окурки, рюмки и окно,
в окне — черноты крыш.
Так мало жизни нам дано,
а ты так много спишь.
Проснись! Дворцы немые без нас,
угрюмы львы и сфинкс.
Неужто мой не слышишь глас?
Тогда какого икс?
Да-да, все иксы в голове,
да игрек ног твоих.
Проснись! Утопли львы в Неве,
Зевес в тумане стих.
Умчались нимфы в опера,
спустились феи в ад.
Кусает медного Петра
змея в поджарый зад.
Постель твоя, как полынья,
притронься и — готов!
Проснись, прелестница моя,
поедем в Петергоф!
Проснись! В душе такой бардак,
уж где ей воспарить?
И скучно мне, и грустно так,
что хочется курить.

Проснись! Моя изныла плоть,
предчувствуя твой суд.
Нас заждались фонтаны, хоть
фонтаны не спасут.
Ведь завтра в ту же колею
низвергнет сонный быт.
И снова душу рвать твою
начнет журнальный жид.
По телефону твой интим
закажет он, и вновь
коньяк по сигаретный дым,
и на столе любовь.
И долго слезы лить вином
ты будешь в мамин плед.
Но беспросветно за окном,
и в окнах беспросвет.
Жизнь дотлевают, словно торф,
под питерскую тишь.
Родная, к черту Петергоф,
поехали в Париж!

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Не смотри на меня, как на страуса,
я и сам-то не знаю, кто я?
Стих окончен. Дурацкая пауза.
Все что мог, прочитал, не тая.
Жизнь окончена. Девочки давятся,
в рукава выдавая хи-хи.
Если б знать самому, как являются
на паршивой бумаге стихи?
Из каких пустяков это лепится,
как империи из дураков.
Разгорится, где даже не теплится, —
жизнь и есть череда пустяков.
Тут вчера даже не было искорки —
нынче бесится пламя вовсю.
И бледнеют журнальные изверги
со своим критиканским сю-сю.
Стих окончен. Безмолвное равенство.
Поперхнулся возвышенный слог.
Для меня самого это таинство.
Я лишь писарь. Творец — это Бог.
Стих окончен. Завяли магнезии.
Жизнь разбиты вся вдрызг на пари.
На асфальте осколки поэзии.
Угасают глаза-фонари.

ГЛУБИНЫ СВЕТА

Вчера я глаз от солнца не отвел,
хотел впитать вчера остатки лета.
Сквозь слезы я познал глубины света,
и мой рассудок мир вещей отмел.
И воспаленно опуская веки,
я понял, что теперь ослеп навеки.

Пожалуй, чтобы истинно прозреть,
ослепнуть нужно, как перед крушеньем.
Вся жизнь земная глупым мельтешеньем
мне показалась в ту минуту. Ведь
едва взглянув на город свой рутинный,
побрел я грустно по нему с повинной.

И что увидел? Вновь пивной ларек,
питье бичей, коричневые лица;
в глазах неверье, что все люди птицы
и в перспективе Боги. Но упрек
ловил от тех, кто взглядом в высь дуплетом
не попадал. Нужды нет, видно, в этом.

Ах, вещи правят жизнь мировой.
Они за горло держат, словно клещи.
Бог безделушки дал, а дьявол в вещи
их превратил потом. Как таковой
природы нет вещей! Не существует.
И зря Лукреций нам о ней толкует.

Да, мы рабы вещей. Рабы немые,
слепы, грубы и что-то там со слухом.
Материя бездарно правит духом,
материя змеей вползла в умы.
В умах черно. Кирза в чернотах крепнет.
Но свет узревший, моментально слепнет.

А впрочем, все теория. В тупых
ухмылках мысль одна рассудок точит:
как мир спасется, если он не хочет,
и как прозревшим жить среди слепых?
Итак, чем больше я страдал с гаданьем,
тем чаще улыбался с пониманьем:

красотка ли коленками сверкнет,
стрельнет ли сигарету ПТУшник,
в квартиру ночью влезет ли домушник,
мокрушник ли под ребра финкой ткнет —
все в рамках жизни. Смерть ее и роды
в плену вещей без духа и природы.

ВСЕ ВЫДУМАЛ

Не выдумал ли я любовь мою к тебе?
И если это так, чего же тут плохого?
Ты хороша к тоске, как хороша к обе-
ду ложка, иль к дверям обшарпанным подкова.
Отсутствие твое в присутствие газет
не веселит души, как дождь осенний ока.
«На свете счастья нет», — сказал один поэт,
в кладбищенский покой отбив по воле рока.
Отсутствие тебя травмирует мой стих,
внутри полураспад уныния и пива.
Тоскливо слушать мне товарищей моих,
читать же их стихи четырежды тоскливо.
Скитаясь черти где, утех я не искал,
хоть было подбивал к земным красоткам клинья.
Простят мои грехи и Бог, и аксакал,
но не простят они в стихах моих унынья.
Алкей мне руку тряс, и пудрила Сапфо
мозги, на рукава ладони возлагая.
Дышалось мне легко, писалось не слабо
лишь потому, что ты любила, дорогая.
Срывался я с высот такой и рассякой,
твой номер набирал, волнуясь и с разгона.
На свете счастья нет, но если есть покой,
то это только ты у трубки телефона.
Я выдумал все, знай! И дальние края,
и корабли в морях, и космос мой свистящий.
Из всех фантазий лишь единственно моя
любовь одна к тебе была здесь настоящей.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Струился дождь, свеча горела,
хоть в доме свет не отключали.
И горько девочка ревела
в тиши полуночной печали.

Она псалом читала новый
в слезах: «Ну где же ты, проклятый,
такой небритый и неклевый,
развратный, лживый и женатый?»

Приди, возьми в свои объятия,
как первый «Колокол» свой Герцен.
Почувствуй сквозь запреты платья,
как птицей замирает сердце!

(В томленьях грусти безнадежной
в висках постукивал будильник,
и дождь стучал не очень нежный,
и грубо булькал холодильник.)

Приди — сорви рывком сорочку,
как покрывало с жизни блеклой!
Возьми, как есть, или в рассрочку,
и брось под дождь, а лучше — в пекло!

Приди к своей овечке гадкой
побитым, пьяным, безобразным —

приму, прощу... Дворовой шавкой
швырну себя к подошвам грязным...»

Но тщетно. Время катит бричкой.
И детство — мотыльком над свечкой.
Он пересытился клубничкой.
Он не придет к своей овечке.

Струился дождь, свеча горела
одна единственная в мире.
И горько девочка ревела
В холодной и пустой квартире.

ЗА ЗДРАВЬЕ ОЛИ

Я пью за здравье Оли
четвертый бокал подряд.
За шторой (худой от моли)
двора белоснежный зад.

Бульвары в соленой каше,
на окна летит труха.

Друзья говорят:

— Есть краше.

А я говорю:

— Ха-ха!

Я окна закрыл и двери,
чтоб жизнь эту крепче крыть.
Пусть пьют господа за Мэри,
я буду за Олю пить.

Изящней красотки Оли
не выписать, не слепить.
Нет в жизни достойней доли —
за наших красоток пить.

Пусть гнется страна от голи,
пусть дьявола сын — Хусейн.
Я выпью за здравье Оли
весь местный дрянной портвейн.

А если жидомасоны
попрячут от нас вино,
я выдую все лосьоны
за здоровье Оли. И сно...

И снова наполню кружку:
да здравствует денатурат!
Пусть бронзовый дрогнет Пушкин,
а Barry Gornwall — сто крат.

Закружат в глазах бемоли
накидками снежных фей.
Я пью за здоровье Оли —
пусть будет всех здоровей!

СЛЕЗЫ СКВОЗЬ ТОМАСА МАННА

Ты с утра вплетала ленты —
я всю ночь их расплетал.
Между нами — ист цу эндэ —
как твой Томас предрекал.

День стыдлив, как дона Анна, —
синь, сентябрь, сэптэмбэр... чу!
Я вчера торчал от Манна,
от листвы теперь торчу.

Выйду в осень: грач на ветке,
галки спорят не о чем.
Лихо шпринген кляйнэ метхен
с ошарашенным мячом.

Сквер. С ухмылкой Казанова
бродит осень в неглиже.
Над душой моей кленово,
и кленово на душе.

Дурь в мозгах, в карманах пусто,
мысль пожарною кишкой
набухает в «тыкве» гнусно,
но сэптэмбэр над башкой.

Осень листьям режет вены,
как неверным псам шиит.

Цвет пронзительной измены
под кроссовками шуршит.

Эту желтую отраву
заварила ты сама.
Что ж ты, майнэ либэн фрау,
тихо плачешь у окна?

Не сорваться б, как со стенда,
с чемоданом на причал.
Между нами — ист цу эндэ
и отсутствие начал!

Над обглоданной столицей,
над трущобами, как Манн,
я и сам вспорхнул бы птицей
и махнул за океан.

ВОТ ДОЖДАЛСЯ ВЕСНЫ

Кто сказал, что в заснеженном нашем краю
от простуды скопытится Гамлет?
Вот сижу, обнимаю гитару, пою,
а за окнами каплет и каплет.
Залит солнцем бульвар, каждый встречный, что кот,
каждой твари сегодня по шмаре.
Вот дождался весны, вот и ладненько, вот
ставлю чайник, бренчу на гитаре.
Нужно выбросить что ли с балкона пальто,
или музыкой двор ошарашить.
Неужели и вправду поверил я, что
будут вечно метели монашить?
Только пули кончаются даже в бою,
и немеет рука от гашетки.
Вот сижу, обнимаю гитару, пою.
Воробей примостился на ветке.
Кто сказал, верно, дикторы первых программ,
или строгие дяди с Цусимы,
что все вёсна в Европах, где Кельн и Милан,
а у нас только вечные зимы.
Но отчаянно бьют за стеной по фоно,
и за окнами птицы порхают,
и царапают ветви березы окно,
значит, почки на них набухают.
Значит, та же на свете царит круговерть,
значит, также гореть в ней и биться.
Не отменит весны даже матушка-смерть —
только вот — не забыть бы влюбиться.

В ОТПУСКЕ

Вкруг деревни твоей все леса.
Ты о них столько лет лепетала.
Все сбывается, точно у галла:
домик, озеро, речка, роса...
Что же возишься ты, словно вошь,
что же мужу ты спать не даешь?

Дать бы в морду тому петуху,
что под ухом орет спозаранку.
Дядя с сетью ушел за таранкой,
кот предчувствует нервно уху.
Ты предчувствуешь негу, а я —
как всегда, новый вид бытия.

Ты предчувствуешь трель соловья,
кот с козой — деревенскую скуку,
тетя с дочкой — молочную муку,
дядя, верно, — безрыбье, а я —
в небе утреннем тоги Богов,
и свой взгляд не свожу с облаков.

Испаряется жизнь в облака.
Облака уплывают куда-то,
безмятежно, легко и кудлато.
Так и мы уплывем... А пока
с глупой рожей стою, как жених,
вероятно, предчувствуя стих.

Жизнь моя утекает в стихи,
а стихи уплывают куда-то
(в ту страну, где их жизнь и пенаты),
на меня оставляя грехи.
Остается лишь нюхать кирзу,
да босым выходить на росу.

В ДЕРЕВНЕ

Встану утром спозаранку,
выбегу во двор —
солнце слепит шпротной банкой,
зеленеет бор.

Огород, заборчик, крынки,
листья и стручки.
На траве блестят росинки,
под травой — жучки.

Ерепенится репейник,
петушится хмель.
Кот, потрепанный, как веник,
ловит птичью трель.

Над метлой ажеотажно
кружит стрекоза.
Грач разгуливает важно,
есть плетень коза.

Воздух влажен и напорист,
без нитратов мысль.
И колодец, будто аист,
клювом смотрит в высь.

И в луга уходит стадо,
как в забвенье Брут.

Бьют копыта канонаду,
лупит воздух кнут.

От пастушьего жаргона
вянут лопухи.
Бык выходит из загона
на свои грехи.

Расстилаются под дустом
рваные поля.
Аппетитную капусту
поедает тля.

Очарованные виды
видятся вокруг.
Я стою, ловлю флюиды,
точно в море круг.

ВЕЧЕРНИЙ ДВОР

Расперился закат, словно кочет,
что с цветного сорвался панно.
Мужики на скамейке гогочут,
заколачивая в домино.
Я брожу вдоль и около, либо
за кустами таюсь, словно рысь.
Только вопли разносятся «рыба!»
и срываются голуби в высь.
Мне сорваться бы камнем с Парнаса,
все рифмую с «бутаном» путан.
Этот вечер не рыба, не мясо,
и тем более он не фонтан.
Столько лет в темноте и без пенья
соловьев из заоблачных каст.
Этот вечер не даст мне прозренья
и надежд на прозренье не даст.
Тем не менее, нет его краше
в этой мутной, уютной глуши.
Чинно катят коляски мамыши,
и галдят под грибком малыши.

ОСЫПАЕТСЯ РОЗА

Странен дом без семьи. Тишина и покой, как в суде
перед речью судьи. Впрочем, все это сонная проза.
Там, под чашкой, письмо. Закипает вода на плите.
Над столом абажур. На столе осыпается роза.

Как живу, не скучаю ли? Нового что под луной?
Забегают софисты, за ними — Сократ и Спиноза.
Наслаждаюсь гармонией, смыслом и той тишиной,
в коей мысли слышны. Только вот осыпается роза.

Заварю себе чай и бутылку без лишних страстей
откупорю, гитару настрою на сны Берлиоза.
Может быть, побренчу, может, кликну залетных гостей.
Ах, свобода пьянит! Только вот осыпается роза.

Уж никто мне не нужен. Я знаю, где правда, где ложь.
Я не спорю с Толстым в позе Льва, хоть прекрасна та поза.
Человек без семьи — это полчеловека. Так что ж,
я согласен на пол. Только вот осыпается роза.

Осыпается роза, за ней оголятся сады.
Я сорвал ее, помнишь, горячей, живой, до отъезда?
Я миры накрою, где все сбудутся наши мечты,
да боюсь, только розам не будет в мирах этих места.

СНОВА МАЙ

Я живу в этой жизни бездонную пропасть веков:
бездну взлетов, падений, разлук и опять возвращений.
Снова май, снова птицы и снова запил Честноков,
как эпоху назад, ощутив, что поэт он и гений.

В сердце радости столько, что хочется в стог с головой,
или вниз с парашютом, не будучи к армии годен.
А тебе безболезненно крикнуть могу, что не твой,
что прививка тобой отболела, и вновь я свободен.

Вновь поют соловьи, на рассвете кричат петухи,
на закате брожу босоного с облупленным носом.
И ветра ворошат под панамой такие стихи,
что хоть вновь отправляйся работать на судно матросом.

Терпкий воздух разлит, под ногами дорога-змея
то пьянит, то зовет, и в груди — как у ханта в Пекине.
Все опять возвращается, Боже, на круги своя,
только мы возвратимся на прежние круги другими.

Те круги под глазами, как след планетарной тюрьмы,
нам отметят года под лучами небесного ока.
Если жизнь отсылает нас снова к истоку, то мы
недопоняли что-то вчера у родного истока.

СЛУЧАЙ В ПИЦУНДЕ

Осенняя полночь, луна, берег моря, ночная Пицунда.
Причал, за причалом огни, катера и военная «шмонька».
Последнюю мечет икру в кабаке озорная полундра,
прощально вздыхает волна, как лавочке пляжной шлюшонка.

Курортный сезон позади, ветер мечет листву, как ротатор.
Сигают кометы, созвездья надулись сердито, как лимфо-
узлы. Море лижет песок, точно Фрау чужую дер Фатер,
и тут из волны появилась нагая античная нимфа.

И смех покотился по пляжу презвонко, как лондонский шиллинг,
и ночь вострепелась, и в бухте уснувшей усилилась качка.
И в ту же секунду курортник засек ее, будто на спиннинг,
шатавшийся праздно с похмелья: «О черт! Неужели горячка?»

А нимфа плескалась, косички рассыпав, как силу Вакула,
звеня тем неистовым смехом, в котором и таешь, и тонешь.
Вот вышла на берег, прошла по песку, сигарету стрельнула
и вдруг подмигнула: «Догонишь — твоя! Если только догонишь».

И парень, очнувшись, как зайца погнал ее прочь от причала.
«Догонишь — твоя! Поспеши!» Ветер мечет листву, как ротатор.
Стучало в висках, бились волны, осенняя ночь хохотала,
луна заряжалась от них, как изношенный аккумулятор.

А звезды для шитых по белому судеб готовили новые пальца,
а он все хватал пустоту и на берег устало валился,

когда ускользала нагая красotka сквозь мокрые пальцы,
под утро она растворилась. Туман над водой закрубился.

Морской горизонт для светила готовил божественный цоколь.
Упала роса на песок. Над Пицундой рассвет занимался.
И три пограничника долго и грустно смотрели в бинокль,
вдыхая участливо: «М-да, ничего так парнишка набрался».

Пять лет пролетело.

Курортник по пляжу шатается мрачный и страшный.

Он нимфу зовет, но в ответ детвора отзывается хором.

Все знают, он спятил. Бывает. Но утром осенним однажды
нашли под причалом матросы его с перерезанным горлом.

НА ПЛЯЖЕ

Зачем ты шаришь по груди
глазами, словно по карманам?
К страстям стихийным не буди,
и к робким не зови романам!
Полдневный час. Долина Дэ.
Курортный зной из снов и лени.
Ужасно скучный том Доде,
а рядом — жгучие колени.
Да не смутит твой мутный взгляд,
да не иссушит, как Итака.
Пицунда. Пляж. Мне черт не брат,
и ведьма не сестра. Однако
я сплю. Я толстокож, как слон,
и тонкомыслим, словно ветер.
Один воскликнул: «Жизнь — есть сон!»
Но что есть сон? — он не ответил.
Полдневный час. Дремотный вздор,
и сон — как вестник пробужденья.
Мне спать и спать еще, но взор
прожег мне грудь под волн гуденье.
Ах, не буди меня, постой!
Я отгорел. Мой дух простился
давно с земною суетой.
В ином миру я пробудился.

ИЮНЬСКИЙ ВЕЧЕР

Ну, вот и день прошел бардачный,
река уснула, солнце село.
Вдали затих поселок дачный,
сползла жара, как юбка с тела.
Дремал я с удочкой зеленой,
как с кистью высохшей художник.
Мой поплавок в воде холеной
уснул мертвецки, как сапожник.
Спускался вечер, как пирога
по Миссисипи, что приснилась.
Очаровашка-недотрога,
визжа, по берегу носилась.
Зачем плотву мою пугаешь,
в песке разыгрывая душку,
и взгляды ветрено бросаешь,
как будто камешки в речушку.
К чему лукавая улыбка,
когда в мозгах одни провалы?
Ловись, ловись, большая рыбка!
Ловись любая, елы палы!
Уже дымится мгла босая,
и распускают ивы гривы.
Над водной гладью зависая,
молчат философично ивы.
Уснула золушкой в карете,
земля, задув все в мире свечки.
какая тишь на белом свете.
Какое небо тонет в речке.

ПТИЧКА В СИЛКАХ

Послушай, где ты обитаешь
в мгновения подлунных смут,
когда последний атрибут
своей одежды позволяешь
с себя сорвать за пять минут?

Когда хмельней тевтонской браги
ладони шарят по углам,
открыв твои архипелаги,
и губы тянутся к губам,
как некое перо к бумаге?

Когда уже кружат рулеткой
мозги и плед шуршит кокеткой,
как дама платьями в Крыму,
когда магнитит каждой клеткой
удушье к телу твоему?

Когда я наглый и вальяжный
пьянею от чудесных ног
и вот, сорвав в тиши цветок,
вдруг ощущаю — он бумажный.

Я становлюсь белее мела.
«В чем дело, милая, в чем дело? —
душа в ночи вопит, хрипя, —
В чем дело, милая, в чем дело?»

Опять в руках держал я тело,
в котором не было тебя!»

Послушай, может, ты играешь,
когда теряюсь при луне,
когда в руках снежинкой таешь...
Послушай, где ты обитаешь?
Послушай, вспомни обо мне!

Очнись! Я тут, впотьмах горилльих,
при муках сладостных в висках.
Куда уносишься на крыльях,
когда мой пульс в твоих святынях,
как птичка райская в силках?

Я ЖДАЛ ТЕБЯ

Я ждал тебя к обеду, дорогая,
сварганил суп, поставил чайник на
плиту, как фишку на кон, полагая,
что в дом дорога уж не столь длинна.

Я подходил к окну, как Марс к Венере,
впивался в двор, но двор давал отлуп.
И закипала кровь внутри по мере
того, как остывал в кастрюле суп.

И хлеб черствел, и сливы в блюдце кисли,
и в вазе гнулись бледные цветы,
и кисло я ловил себя на мысли,
что мне не все равно, где бродишь ты.

Был двор уныл и сир от серых зданий,
пуст тротуар, и думалось мне, что
жизнь состоит из ссор и ожиданий,
и порванных бумажек спортлото.

Я брал газету, мельком пробегая
по новостям в замыленных тонах.
А мы живем так скучно, дорогая,
среди кастрюль и люстр в немых стенах.

Я порывался выйти троекратно,
влезал в кроссовки, трепеща, как флаг.

Имел бы фрак французский, вероятно,
напялил, дорогая, бы и фрак.

Любовь ли это, дьявол ли возводит
в червонец, насмехаясь, медный грош?
Бегут минуты, дни, и жизнь уходит,
как борщ с плиты, а ты все не идешь.

И вот опять на Бога возлагая
свои надежды и теряя стыд,
я жду тебя, как прежде, дорогая!
Что не спешишь? Да Бог тебя простит.

СОДЕРЖАНИЕ

Перистые облака.....	3
Без кепки.....	4
Гадание по картам.....	6
Что касается счастья.....	7
Разгребая снег.....	9
Рождение Ломоносова.....	11
На снегу.....	12
Органистка.....	13
Моцарт.....	15
После дождя.....	16
Друзьям.....	17
Игра в судьбу.....	19
Еще не поздно.....	20
Капель.....	21
Женщина.....	22
В дождь.....	23
На ступенях.....	24
Братва.....	26
Я спросил вчера у гуманоида.....	27
Испытание красотой.....	28
Вместо слова.....	30
Попутчица.....	31
В прошлой жизни.....	34
Ты рано вставала.....	35
После ссоры.....	37
Мне осталось.....	38
Рассудку внемля.....	40
Зачем торопишься.....	41

Декабрь.....	43
Из окна.....	44
Незнакомка.....	45
Прелестница.....	46
После выступления.....	48
Глубины света.....	49
Все выдумал.....	51
Первая любовь.....	52
За здоровье Оли.....	54
Слезы сквозь Томаса Манна.....	56
Вот дождался весны.....	58
В отпуске.....	59
В деревне.....	61
Вечерний двор.....	63
Осыпается розы.....	64
Снова май.....	65
Случай в Пицунде.....	66
На пляже.....	68
Июньский вечер.....	69
Птичка в силках.....	70
Я ждал тебя.....	72